

Александр Морев

Д Л Я Р А Д О С Т И

Иногда мне кажется, я стар, скоро мне стукнет триста лет, но в жизни своей я еще не посадил ни одного дерева и никого не спас. А человек должен хоть раз спасти кого-то, должен пройти через этот акт мужества, потому что, спасая, можешь погибнуть сам.

И вот, вспоминается мне один случай.

Я прибыл в городишко Н., сделал все свои командировочные дела, до поезда оставалось небитых шесть часов, и я решил их как-нибудь убить: прогуляться по городу, что ли? Люблю гулять по провинциальным городкам, заглядывать в уютные дворики— что там? Люблю рассматривать старенькие здания и читать вывески. Всегда попадается что-нибудь забавное, например: "Дом глухих им. Бетховена" или "Дом слепых им. Гомера".

День был ясный, тихий, и уезжать мне не хотелось.

Был я тогда молод, не болел. Двери открывал резко, входил уверенно, в глаза смотрел прямо, меня уважали. Так и тут, вошел я в старенькую столовую на берегу Волги— бывший купеческий особнячок. На стенах— две темные картины. Одна— натюрморт, какому мог бы позавидовать великий дилетант Пиромани. Другая— фантастические цветы в духе таможенника Руссо. Под картинами привычные надписи: НЕ КУРИТЬ; Спиртных напитков не распивать. И еще одна, порадовавшая меня своей оригинальностью: ПАЛЬЦЫ И ЯЙЦА В СОЛЬ НЕ МАКАТЬ?

Я подошел к буфетной стойке. Буфетчица наливала водку

в мерку. Бутылки за спиной, в старинном черном резном буфете. Ящики с пивом на полу.

Я спросил:

— А как же насчет объявления— не выпивать?

— А так: с собой не приносить,— сказала она резко, отрывисто, и не смотрела на меня, прицелившись, наливала.

В углу за столиком по-хозяйски шумели мужики— явно принесли с собой и уже нагрузились. Под столом стояли пустые бутылки. Бутылки падали, задеваемые ногами. Одна даже выкатилась на середину столовой и, казалось, вот-вот станет на попа, покачается и замрет. Дым стоял коромыслом. Курили.

Я взглянул в меню. Стерляжей ухи не предвиделось. Котлеты и жареный хек. Хек! И это на Волге! Из гарниров— макарон и гречневая каша. Не густо. Но есть хотелось. Я заказал сто грамм водки и котлету с макаронами. Мужики шумели что-то доказывая друг другу.

— Да тише вы, ироды!— крикнула буфетчица.— И не курите тут! Сколько вам говорят! На берег идите, там и курите!

Мужики взглянули на нее оловянными глазами и отмахнулись. Шум продолжался.

Люблю эти затрапезные столовые и этих неугомонных шумных людей, с их голосами, с двиганьем стульев и звяканьем стаканов.

Все в этих столовых располагает меня к тихому ясному созерцанию и какому-то ласково-грустному размышлению, словно я первый раз в гостях у кого-то и еще не познакомился

со всеми.

Я выпил. И не знаю, почему-то вдруг вспомнил тихую могилу Толстого в лесу у оврага. Шелест листвы. Никого нет. Тишина.

Три дня назад, заезжая в Тулу по делам, я решил заглянуть в Ясную Поляну. Ехал в Ясную со странным чувством: испытывал волнение и трепет, словно великий старик жив. С таким чувством, наверное, ехали на поклон к живому Толстому и Чехов, и Горький и многие другие. Но в то же время я боялся, что Ясная без Толстого разочарует меня — уж слишком жива она в моем сознании. Но с Ясной Поляной этого не произошло, как не произошло и с Михайловским.

Есть места сами по себе ничем не интересные, и примечательные разве лишь тем, что здесь с такого-то по такой-то жил такой-то славный малый; а будь его воля, он бы с радостью перебрался жить в другое место. Но есть другие прекрасные места, которые сами щедро питали личность, как бы гармонически воздействовали на нее, формировали ее по-своему образу и подобию. Вот таким местом и оказалась Ясная Поляна. Ясной она была и до Толстого. Эта чарующая частица русской земли с таким просветленным названием сделала из помещика и графа Толстого одного из величайших писателей мира.

Я долго бродил вокруг дома, не решаясь войти. Глядя на окна, мне казалось, что в доме и сейчас живут. Только ховяева куда-то уехали, возможно в Москву, возможно в гости к Фету. Но вернуло меня к реальности знаменитое "дерево

бедных". То, что с тех пор прошло столько времени, говорил колокол, который врос в кору дерева, а не висел свободно, как на прижизненных толстовских фотографиях. Кора до половины во-
брала в себя звонкую медь, древесина словно засасывала колокол в себя. А возможно, когда-нибудь поглотит его совсем. Вросший в дерево, онемевший колокол— страшно! Так на старинных кладбищах деревья ломают решетки и сдвигают могильные плиты, но там это олицетворяет вечность жизни, здесь же дерево заглатывало самое живое— звон. Да, этот погибающий в древесине колокол буквально вопиял: нет сейчас того человека, к которому в тяжелую минуту идут люди!

Я долго ходил по дому. Да, здесь была когда-то жизнь. Здесь двигали стульями, громко разговаривали, смеялись, пели, играли в четыре руки и спорили. Спорили до хрипоты, до крика, до слез, до ухода из дома в ночь, чтобы доказать, что человек должен заботиться не только о своем личном благе и благе своих детей, но и о благе каждого человека.

После осмотра дома я пошел к могиле Толстого. Ни одна могила не вызвала у меня такого необыкновенного чувства. Ни памятника, ни мраморной плиты, ни бронзового бюста— один безымянный холмик в лесу, поросший травой. И к этому как бы забытому холмику русской земли идут поклониться люди.

Я очнулся. Мужики шумели за столом. Вдруг ко мне подсел самый громкий из них.

— Небось из геологов будешь?— спросил он.

Я кивнул. Почему-то меня всегда принимали за геолога. Слово за слово, мы разговорились.

- А для чего живут люди?— спросил я его.

- Ну как для чего?! Для радости,— сказал он и как-то даже сам удивился, что вышло точно.

Да, для радости живут люди. Для радости живет и трудится человек! Для радости других идет на смерть, жертвует собой!

Выйдя из столовой я долго смотрел на Волгу, на раскинувшиеся дали на той стороне и чувствовал неизъяснимое родство с этой землей, водой, и этим небом. И меня не раздражали гипсовые истуканы спортсменов у воды. Кстати, один из спортсменов стоял с пользой: кто-то отбил ему руку по плечо и в плечевом черном отверстии сидела птица, по-видимому, там было ее гнездо. У воды мужики копошились в моторах своих лодок. Жизнь медленно, как эти воды текла и почти не изменила городок.

Времени до поезда у меня было еще много и я зашел в старинный парк. Но там не оказалось ничего, кроме все тех же стандартных гипсовых спортсменов. Они выглядели старше вековых лип. Я посмотрел на эти удивительно мажорные фигуры, наверное поставленные, чтобы радовать глаз, покурил и вышел из парка. И тут услышал в отдалении траурный шопеновский марш.

Странно— я живу в большом городе и раз в сто лет вижу на улице похоронную процессию. Но стоит мне уехать в какой-нибудь провинциальный городок, как обязательно я услышу звук траурных труб и нарвусь на покойника. Так случилось и в этот раз. Гроб в открытом кузове машины на красном фоне, в окружении цветочных горшков. По-видимому, это была фигура районного масштаба. Полгорода провожало покойника. Кладбище было

густое, зеленое. Те же большие липы, что и в парке, вороний грай. Я задержался у старенькой церкви. Осмотрел гранитные памятники. Нашел несколько купцов первой и второй гильдии, двух действительных статских ~~конюхов~~ и даже одного тайного советника. Потом подошел к толпе. Кто-то грузный с красным напряженным лицом произносил надгробное слово. И никак не мог найти правильной интонации — мешали казенные слова и привычка читать по бумажке бодрые речи. Здесь эта бодрость диссонировала, была не к месту, сам он это чувствовал и потел.

Люди толпились, стояли на соседних могилах, тянули шею. Я спросил соседа, кого хоронят.

— Начальника райжилотдела.

— Ну, и как был человек?

Мой сосед пожал плечами.

— Человек-то хороший был? — повторил я свой вопрос.

— Не знаю. Был начальником.

И я подумал, что одним советником на этом кладбище будет больше.

Люди теснились. Задние напирали на передних.

И вдруг я услышал за спиной мальчишеский голос:

— Куда лезешь, Мишка? Это ж Зубкова могила! — и Мишка спрыгнул с могилы.

И потом я услышал мужские голоса:

— Ну, куда прешь, это ж Зубкова могила! Не видишь, что ли Зубкова, Зубков! Тут лежит Зубков... — слышал я в толпе.

Я спросил у соседа:

- Кто такой был Зубков, что так охраняют его могилу?

Мой сосед посмотрел на меня и сказал:

- Вы, наверное, приезжий. Зубкова у нас все знают. Учитель. Да! А вон виновник его смерти. Спросите- он вам расскажет.

И тут я заметил странное: на виновника смерти Зубкова окружающие поглядывали с каким-то даже почтением. Одет он был просто и скромно. Лысоват, лет сорок, в руках кепочка с букетом цветов. Вид у него был смущенный. Он поправил смятые цветы и положил свежие. Кто-то из мальчишек сунул ему в руки горшок с цветами, только что стоявший на машине. "Виновник" не хотел брать, но окружающие гневным шепотом и решительными жестами убедили его принять этот скромный дар. Каким-то образом часть свежих цветов перекочевала от начальника райжилотдела к могиле учителя, который, судя по дате, умер 2 года назад. Но цветов на могиле учителя и так было много, словно похоронили его вчера.

По дороге с кладбища, когда все расходились, я догнал этого лысоватого человека. Он только что одел кепку.

- Простите, я хотел бы узнать, кто такой был Зубков. Я вижу люди относятся с почтением к этому имени.

Мой спутник минуту помолчал и зачем-то снова снял кепку.

- Видите ли, это грустная история,- вдруг сказал он, и голос его оказался добрым.- Зубков был учителем. Чудак, рассеянный. Ребята любили его, и он любил детей. Родственников у него не было. Я много слышал о нем хорошего, но знаком не был. И вот однажды вечером я вез детскую коляску, остановился

у газетного стенда, а городок наш— сами видите, улицы все спускаются к Волге. Я стою читаю газету и не заметил как коляска-то моя покатила по улице. А тут из-за угла машина выскочила. И, значит, если б Зубков не кинулся... И вот Зубков погиб. Спас коляску, а сам погиб.

— Да,— сказал я,— теперь я понимаю, конечно, он вам как родной: спас вашего ребенка.

— Да, так. Но все дело в том, что в коляске-то я вез сдавать в стирку грязное белье.

Я вздрогнул. Чудовищно!

— Но вы не думайте,— сказал мой спутник, словно извиняясь за опрометчивый поступок Зубкова.— Он как бы действительно спас моего ребенка! Он же не знал, что коляска пуста.

Мы шли молча.

Я представил, как Зубков оттолкнул коляску к тротуару и в ней вздрогнул узел белья. А он раздавлен и кровь по мостовой течет туда, к Волге.

— Он сразу умер?

— Сразу.

Как хорошо, если он не заметил, что было в коляске! Жутко, если заметил. Стал накрапывать дождь и грустный человек надел кепочку. Мы попрощались.

И тут я понял, откуда уважение у этих людей на кладбище к памяти Зубкова. Для них неважно спас он или не спас. Важно, что среди них жил человек, который отважился спасти. Да, как важна в человеке эта способность пожертвовать собой ради других! Ты поднялся, нашел в себе силы. Ты можешь не спра-

виться— тебя могут раздавить, но важно не стоять в стороне. Пусть даже это будет ветряная мельница, а не великан. Пусть это будет машина, сбивающая детскую коляску. Но если б был великан, Дон-Кихот был бы так же отважен. Если б в коляске был ребенок— ребенок был бы спасен.

И тут я вспомнил Толстого, идущего за плугом. И его истину, что нужно совершенствование в самом себе каждому человеку. И он совершил в самом себе этот прекрасный путь к равенству со всеми. И пусть потом многим казалось, что напрасна была эта жертва. Но он пожертвовал искусством, семьей, и, наконец, жизнью, ради жизни для всех. И пусть его учение было ложным, ошибочным и никого не спасло. Так и другой маленький учитель ошибся и никого не спас, и сам погиб напрасно. Но напрасно ли? Вот вопрос!
